



С. А. ЛЕВИЦКИЙ

Бердяев: пророк или еретик?

После смерти Бердяева прошло более 25 лет. Однако его философское учение до сих пор привлекает к себе интерес, и влияние его на современную западную мысль не прекращается. У его учения много философских друзей, но есть и враги. В русских правых, ортодоксальных, кругах его считают вредным еретиком. В Советском Союзе о Бердяеве молчат, а в Большой Советской Энциклопедии ему отведено лишь немного строк, полных злобной клеветы.

В то же время в западных философских кругах Бердяев котируется очень высоко, некоторые считают его гением. В нем видят самого яркого представителя религиозного экзистенциализма. В немецкой «Истории мировой философии» Хиршбергера и в однотомной французской книге Брейе лишь четырьмя русским философам посвящены отдельные большие главы: Владимиру Соловьеву, Лосскому, Бердяеву и Льву Шестову¹.

Наконец — и это самое главное для нас, — в конце шестидесятых годов в Ленинграде был раскрыт кружок имени Бердяева так называемых «социалхристиан» во главе с Огурцовым, до сих пор томящемся в концлагере². «Философа свободы» продолжают распинать смертельные враги свободы.

Все это говорит об актуальности нашей темы. Попробуем же разобраться в самых общих чертах в духовном наследии Бердяева.

ГНОСЕОЛОГИЯ

Всякая современная философская система должна начинать с гносеологии, то есть с теории познания. Но Бердяев с трудом укладывается в рамки, поскольку его философское учение часто переходит в проповедь, в исповедание истины, и поскольку

соответственно центр тяжести его философии находится в религиозной метафизике и этике, а не в гносеологии. Бердяев сам говорит, что он хочет начать свою философию не с гносеологического оправдания, а с гносеологического обвинения — обвинения в утрате традиционной гносеологией живой связи с бытием. Но тем самым он отдает гносеологии некоторую дань.

Бердяев еще в ранней молодости испытал сильное влияние Канта. В этом — его отличие от большинства других русских философов, на которых влияли более Шеллинг (Вл. Соловьев) или Гегель (Вышеславцев³). Бердяев принимает в качестве исходной точки Кантов дуализм «вещей в себе» (истинной реальности) и мира явлений. Но он переосмысливает этот дуализм, толкуя его как дуализм «духа» и «природы». «Вещи в себе», по Канту, непознаваемы. Бердяев же настаивает на том, что подлинная реальность (переосмысленная «вещь в себе») есть дух — внутренняя реальность, которая по смыслу своего понятия познаваема путем интуиции. Кантовский мир явлений Бердяев толкует как мир «объективации», противостоящий духу как нечто ему, духу, чуждое, познаваемое холодным рассудком и не имеющее своего экзистенциального центра. В противоположность миру объективации дух не может быть объективирован, так как в нем нет ничего внешнего.

Основные категории духа — субъектность, свобода, творческая активность. Основные категории «природы» — объективность, причинная зависимость, косность.

Особое положение человека в мире объектов характеризуется тем, что человек причастен одновременно двум мирам — духу и природе. Человек вышел из лона природы, его одушевленное тело принадлежит природе — и в то же время он возвышается над миром природы благодаря наличию в нем духа. Следует подчеркнуть, что это — не традиционный дуализм духа и материи, поскольку в мир природы Бердяев включает и психические процессы, зависящие от тела. Дух воплощен в человеке не безлично, а в самой его личности, не абстрактно, а конкретно. Поэтому Бердяев предпочитает говорить не о человеке вообще, а о самой его личности. Именно личность есть духовное начало в человеке. Вот слова Бердяева:

«Человек — загадка в мире, его величайшая загадка. Человек — загадка не потому, что он особое, высшее животное или социальный индивид, не потому, что он есть часть природы или часть общества. Человек — загадка как личность, как существо, обладающее личностью с ее единственной в мире судьбой...»

«Личность не есть часть чего-либо, даже Вселенной. Наоборот, Вселенная есть часть личности. Таков парадокс персонализма. Личность не есть объект в ряду других объектов. Антропологические науки, биология, психология и социология рассматривают личность как часть чего-то и объект. Но личность существует только как субъект, в своей бесконечной субъективности». Всякая личность, продолжает Бердяев, незаменима и неповторима.

Эти цитаты не следует толковать в духе солипсизма (учения о том, что существуют только я, все же остальное — только мои субъективные представления). Не следует потому, что мир объективации есть тоже реальность, хотя и чуждая духу, а также потому, что бытие личности предполагает бытие других личностей, с которыми данная личность вступает в многообразные отношения, начиная с любви и кончая враждой.

Человек как психобиологическое существо есть продукт эволюции природы. Но человек как личность не может быть продуктом чего-либо, в том числе эволюции природы. Человек как личность есть создание Вожие. Поэтому понятие личности непосредственно связано с понятием Бога, вернее, с самим Богом. Личность может быть постигнута лишь в своей связи с Богом. То, что в личности наиболее специфично, продолжает Бердяев, то есть ее внутренняя свобода и ее совесть, имеет духовное, точнее, божественное происхождение. Поэтому для понимания человеческой личности необходимо начинать с религиозной философии.

Но религиозная философия Бердяева чрезвычайно своеобразна. Хотя он не отрицает основные христианские догматы, он дает им специфически-бердяевское толкование. Принимает Бердяев и основной догмат о сотворении мира Богом из ничего — но вкладывает в него свое содержание, которым я сейчас и займусь.

МЕТАФИЗИКА

Началом всех начал Бердяев считает не Бога-Творца (Он творец лишь в отношении к миру), а Непостижимую Первореальность, превышающую какие-либо определения. Следуя за немецким мистиком Якобом Беме, Бердяев называет эту перво-реальность бездной, из которой, по его учению, «вечно рождаются Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой». Якоб Беме употребляет термин *Ungrund*: буквально — безосновность, но по смыслу

здесь лучше подходит слово «бездна». По учению Бердяева, бездна не до конца преобразилась в Святую Троицу и поэтому она (бездна) сосуществует с Богом. Из этого небытия (один из переводов Унгрунда) Бог и сотворил мир. В этом «меоне» (иной оттенок слова «Унгрунд») скрыта и загадка свободы. Само миротворение Бердяев рассматривает как первичный акт свободы: «Меоническая свобода согласилась на акт творения, небытие свободно согласилось на бытие».

Соответственно человек есть «дитя Божие и дитя свободы, несотворенного меона». Свобода, значит, не сотворена Богом, а коренится в «бездне небытия». Этим Бердяев объясняет рационально не объяснимое влечение человека к злу: его порывы к разрушению идут от бездонной иррациональной свободы, составляющей наряду с образом Божиим в нас подоплеку нашего существа.

Следует отметить тут и отличие учения Бердяева от учения Беме. Беме видит источник свободы в «темной природе в Боге», которая затем преображается в процессе теофании, — Бердяев же противопоставляет Бога и первичную свободу: последняя находится, по Бердяеву, вне Бога.

Естественно возникает вопрос: зачем понадобилось Бердяеву такое странное на первый взгляд учение, напоминающее некоторые виды гностицизма, особенно учение Маркиона. Ответ: для того чтобы снять с Бога ответственность за мировое зло. Ради этого Бердяев идет так далеко, что даже отрицает всемогущество Божие ради Его всеблагости. Он имеет в виду следующую, давно известную антиномию: если Бог всемогущ, то Он несет ответственность за мировое зло — и тогда Он не всеблаг. Если же Он — всеблаг, то зло происходит не от Бога, — тогда Он не всемогущ. Бердяев даже заостряет эту мысль до парадокса. «У Бога, — говорит он, — меньше власти, чем у полицейского». Бог — добавляет Бердяев — есть источник только положительных ценностей истины, добра и красоты.

Школьное богословие решает эту антиномию указанием на свободу человека как на первоисточник зла: человек может злоупотреблять своей свободой. Но Бердяев считает это решение вопроса чисто словесным силлогизмом, не находящим себе подтверждения в конкретном духовном опыте. Во-первых, существует зло, не зависящее от человека, — эпидемии, природные катастрофы. Главное же — при этом возникает вопрос: зачем же Бог сотворил свободу, если она — источник зла? И Бердяев считает, что только его учение — отрицание всемогущества Божия — дает ответ на этот мучительный вопрос.

Однако это учение Бердяева есть, хотя и благородный, но внутренне вряд ли оправданный скачок мысли. По традиционному учению, Бог сотворил мир из Ничто. Ведь Ничто — такое же необходимое понятие в философии, как ноль в математике. Но Ничто нельзя при этом понимать как материал, из которого Бог сотворил мир. Это лишь означает, что для сотворения мира Бог не взял ничего ни извне, ни изнутри себя. Он сотворил мир как нечто никогда не бывшее. Бердяев же рассматривает Ничто именно как материал свободы, то есть он гипостазировал Ничто — совершает классическую ошибку, от которой предостерегал еще Платон в своем диалоге «Горгиас». В связи с этим большие сомнения вызывает провозглашение свободы в качестве второго Абсолюта, не зависящего от Бога. Ибо этот тезис приводит к релятивизации Божества, что и противно логике, и вряд ли приемлемо с общехристианской точки зрения.

Всемогущий Господь сотворил все, в том числе и свободу. Но свобода занимает особое, верховное, место в порядке миротворения. Свобода является условием возможности как творческой деятельности, так и выбора между добром и злом. В этом отношении свобода первична по отношению к вытекающим из нее актам, в том числе актам добра и зла. И Бердяев глубоко прав в утверждении относительной первичности свободы. Он глубже большинства философов чувствовал эту изначальную мистерию свободы. В известном смысле свобода первична по отношению к бытию, ибо все бытие есть результат актов свободы, в чем Бердяев опять-таки прав. Порочно у Бердяева лишь (и это — очень большое «лишь») обожествление свободы, возведение ее в соразную с Богом степень. Но совершенно необязательно или принимать целиком, или отвергать начисто метафизические утверждения Бердяева. Ни одно учение ни одного мыслителя не является выражением абсолютной истины — и почти ни одно утверждение великих мыслителей не представляет собой абсолютную ложь. В случае Бердяева необходимо отвергнуть его отрицание всемогущества Божия — но следовало бы принять его утверждение относительной первичности свободы и божественности творчества, равно как и его борьбу против идолопоклоннического понимания Бога и против всех соблазнов внутреннего рабства, подстерегающих человека на столь многих путях.

Но продолжим изложение бердяевской религиозной метафизики. Поскольку человек, по учению Бердяева, есть «дитя Божие и дитя меона, несотворенной свободы» — в душе человека происходит борьба между Богом и свободой. Миф о грехопаде-

нии свидетельствует, по Бердяеву, о бессилии Творца предотвратить зло, исходящее от свободы, которую Он не сотворил. Тогда Бог действует вторично в отношении человека: Бог нисходит в мир и появляется в нем в образе Искупителя, как Сын Божий Иисус Христос, принимающий на себя грехи мира. Бог-Сын нисходит в бездну, в Унgrund, чтобы просветить изнутри эту бездну божественным светом. Бердяев говорит: «Бог-Сын являет себя не во власти, а в жертве». И тогда, говоря словами философа: «Божественное самораспятие должно победить меоническую свободу просветлением ее изнутри, без насилия над ней, без лишения сотворенного мира присущей ему свободы».

Такова трагическая теодицея Бердяева, не обещающая никаких гарантий конечной победы Бога над иррациональной свободой, но одушевленная верой в эту конечную победу. Это — не столько теодицея, сколько «христодицея». Образ Христа как бы заслоняет у Бердяева образ Бога-Творца, хотя он и принимает догмат о единосущии пресвятой Троицы (здесь — некоторое влияние гностика Маркиона, противопоставлявшего светлый образ Бога-Сына — темному образу Бога-Отца).

Теодицея эта обязывает не только к отрицанию всемогущества Божия, но и к перенесению трагедии в самые недра Божества. Бердяев видит это, но утверждает, что «трагизм внутрибожественной жизни есть показатель не ее несовершенства, а ее сугубого совершенства»: всемогущий и самодовольный Бог, по Бердяеву, был бы этически ниже страдающего Бога. Бердяев признает далее, что «в последней инстанции происхождение зла навсегда останется неизъяснимой трагедией», но не видит иного этически приемлемого выхода, кроме его трагической теодицеи.

До сих пор мы излагали общее учение Бердяева о свободе. Но в позднейших книгах Бердяев существенно детализировал это учение, внося в него важные коррективы, несколько умеряющие его абсолютизацию свободы. Так, он различает три вида свободы: изначальную иррациональную свободу, предшествующую выбору между добром и злом, далее — рациональную свободу самого выбора между добром и злом и, наконец, — положительную свободу, достигаемую, когда человек свободно выбирает добро. В таком случае изначальна темная свобода произвола просветляется в «свободу в Боге». В книге «О рабстве и свободе человека» Бердяев детально разбирает различные виды духовного рабства человека. Но особенно глубокая форма рабства — пишет он — возникает вследствие недуховного и даже антидуховного понимания природы Бога и человека.

Это антидуховное понимание религии можно выразить в следующей предельно краткой схеме: Бог-Отец — всемогущий и самодержавный Владыка, человек — лишь раб Божий, главный долг которого, — повиновение воле Божией. За неповиновение Бог наказывает человека, как он наказал Адама и Еву, изгнав их из рая. При таком понимании свобода человека есть источник скорее зла, чем добра (тогда как при правильном понимании свобода — источник как зла, так и добра).

Против этого, школьного, понимания Бердяев восстает всеми силами своего философского таланта. Ибо, говорит он, Бог оказывается при этом первопричиной зла в мире — поклонение такому Богу равносильно поклонению всесильному Идолу, требующему человеческих жертвоприношений.

Само это представление о Боге — говорит Бердяев — есть плод перенесения человеческих, слишком человеческих идей на природу Божества, оно основано на проекции земных деспотий на Небо. Богу же, по словам Евангелия, надлежит поклоняться в духе и в истине. Сам Бог есть Дух, он есть Бог добра и творчества, а не зла и разрушения. Понимание человека только как раба Божия — продолжает Бердяев — противоречит христианскому же учению о том, что человек есть «образ и подобие Божие», есть существо, способное к свободному усмотрению высших ценностей. Поэтому Бог есть не столько высшая Сила, сколько высшая Ценность. И поскольку Бог есть Творец, постольку человек, его образ и подобие, есть тоже творец, хотя и с маленьким «т». Уже наличие образа Божьего в человеке несовместимо с рабским отношением к Богу. Ведь сам Бог захотел, чтобы человек был свободным существом. «Высшая мысль человека — Бог, — говорит Бердяев, — и высшая мысль Бога — человек». Христианская религия требует вовсе не унижения человека перед Богом, а возвышения человека до истинно понятого Бога.

Но вознесение человека к Богу возможно лишь на основе человеческого творчества, осененного божественной благодатью. Поэтому Бердяев считает, что есть два основных пути к Богу: путь святости и путь гениальности. Традиционное, историческое христианство слишком долго оставалось равнодушным и слепым к человеческому творчеству, к дарам свободы в человеке, и в этом — одна из основных причин бунта против христианства, начатого в эпоху Возрождения. Глубоко символично — пишет Бердяев в «Смысле творчества», — что в начале XIX века ни Пушкин ничего не знал о святом Серафиме Саровском, ни Серафим о Пушкине, хотя оба делали, глубоко раз-

личными путями, Божье дело. На этом пути отчуждения христианства от культуры и отчуждения культуры от религии и возник конфликт между безбожной культурой и слепой к культуре церковью. Этот роковой для судеб человечества конфликт может быть преодолен лишь путем религиозного освящения творчества — и активным приятием церковью достижений человеческой культуры. Истинный путь, продолжает Бердяев, заключается в обожении человека — и в очеловечивании Бога. Христианство есть религия не только Бога-Отца, но и Бога-Сына, то есть религия Богочеловека. Теодицея — оправдание Бога за мировое зло — возможна лишь через веру в Богочеловека, в котором Слово стало плотью.

Такова религиозная метафизика Бердяева, бросающая вызов многим традиционным представлениям о Боге, но исполненная в то же время пламенной веры в Бога. Бердяев сам говорит: «Моя вера в Бога — непоколебима. Существование зла в мире не ослабляет, но укрепляет мою веру. Ибо оно указывает на то, что наш, лежащий во зле, мир — не самодостаточен, что он требует высшего смысла. Этот высший смысл мира и есть Бог».

В религиозной метафизике Бердяева есть дерзновение, она граничит часто с ересью, но в ней нет кощунства. Даже не принимая его религиозную философию в целом, нельзя не признать, что в ней содержатся глубокие истины, о которых полезно напомнить, и что она стимулирует мысль.

Сколь ни импозантна религиозная метафизика Бердяева, у нее есть один основной недостаток: слишком в ней глубока пропасть, которую он вырывает между миром духа и миром природы. Бердяев как бы отрывает дух от природы. Это можно продемонстрировать на его интерпретации творчества. Превыше всего он ставит творческий экстаз, духовное горение. Но продукты творчества, по его же учению, попадают в мир объективации — и представляют собой уменьшенную ценность по сравнению со своим первородным источником. Это — типично романтическая установка, которая если не обесмысливает, то подрывает конечный смысл творчества. В самом деле, для чего творить, если продукты творчества ниже по ценности, чем само творчество?

Но вопреки Бердяеву творческий акт никак не может и не должен делаться самоцелью. Это было бы духовным извращением и противоречило бы самой природе творческого акта. Творческий экстаз есть симптом причастия высшим ценностям, а не самоценность.

Здесь я стою на позиции идеал-реализма Н. Лосского: хотя творческий замысел есть первоисточник творческого акта, продукт творчества есть воплощение этого замысла, и это воплощение представляет собой приумножение, а не уменьшение первичного замысла. Воплощенная идея есть большая ценность, чем идея, оставшаяся невоплощенной.

ЭТИКА

В свете своей религиозной метафизики Бердяев подходит и к проблемам этики, и нужно сказать, что именно в области этики заключен главный пафос его учения.

В «Назначении человека» Бердяев различает три формы этики: этику *закона*, этику *искупления* и этику *творчества*. Этика закона есть низшая, хотя и необходимая, ступень морального сознания. Она обращена не столько к личности, сколько к человеческому роду, к страстной природе ветхого Адама, и состоит из кодекса запретов, «табу». Эти запреты, порожденные религиозным страхом, необходимы, без них человеку грозила бы опасность вернуться в животное состояние. Но в «отрицательном», безличном характере этого закона — ее ограничение. Она больше запрещает, чем вдохновляет. Будучи, повторяем, необходимой ступенью, этика закона есть лишь «приготовительный класс» этики. Она есть этика социальной обыденности. Она проходит мимо личности и создает фарисейскую психологию «законничества». Она или приводит к лицемерию и ханжеству, или создает «фанатизм добра», слепой к живой личности. Так возникает «кошмар злого добра» (название одной из статей Бердяева). Ссылаясь на Фрейда, Бердяев утверждает, что нередко под покровом этики закона судьи на самом деле изживают собственные садистические импульсы. Помимо того, внешнепарадоксальным образом система запретов этики закона порождает иррациональный протест подсознания: иррациональное стремление нарушить закон, не подкрепляемый божественной благодатью. «Пришел закон и умножился грех», — цитирует Бердяев апостола Павла. Ибо принудительная добродетель всегда вызывает протест — факт, хорошо известный психологам и психиатрам.

Более высокая ступень морального сознания — этика искупления, которая свободна от законничества и лицемерия. Она есть благодатная этика всепрощения, любви и сострадания,

этика «благодатной божественной энергии, этика Бога-Сына». В ней переставляются все моральные критерии этики закона: первые в законничестве благочестия будут последними перед судом Божиим, а последние (смиренные духом) станут первыми. Этика искупления обращена не к законникам, а к грешникам. Здесь не отвлеченный моральный закон, а сам лик Христов является руководителем совести. «Нисхождение Христа и искупление есть продолжение творения мира, есть восьмой день творения». «Евангельская мораль — мораль благодатной силы, неподвластная закону. Собственно, это даже не мораль, ибо христианство поставило человека выше идеи добра».

Но этика искупления имеет и свои опасности. Забывая о бескорыстной любви к ближним, она способна вырождаться в «трансцендентный эгоизм» — в исключительную заботу о спасении собственной души, что может вызвать религиозную манию преследования и религиозный мазохизм. Эта исключительная забота о спасении может засушить корни любви к ближнему.

Поэтому этика искупления нуждается в дополнении ее «этикой творчества». Ибо творец забывает о себе и заинтересован прежде всего в самом акте и в результатах своего творчества. Творящий всегда бескорыстен: он любит свое творение, как Бог любит мир. Творящий больше не скован религиозным страхом, он раскрывает в себе божественную энергию. Человеческая творческая сила освящается в нем божественным вдохновением. Вот как характеризует сам Бердяев свою «этику творчества»:

«Творчество стоит как бы вне этики закона и искупления и предполагает иную этику. Творец оправдывается своим творчеством. Творец и творчество не заинтересованы в спасении или гибели. Творчество означает переход души в иной план бытия. Страх наказания и вечных мук не может играть никакой роли в этике творчества. Творческое горение, Эрос божественного, побеждает похоть и злые страсти. Сублимация и преобразование страстей означает освобождение страсти от похоти и утверждение в ней свободной творческой стихии. Творчество есть благодатная энергия, творчество есть первожизнь, оно обращено не к старому и не к новому, а к вечному».

Иными словами, в творчестве человек становится свободным соучастником миротворения. Во время творческого акта с человека снимается печать первородного греха, он становится как бы «меньшим братом Божиим». Этика творчества стоит уже «по ту сторону добра и зла», ибо, повторяем, — «христианство поставило человека выше идеи добра».

Вообще главный пафос бердяевской этики—в преодолении морализма. В этом, конечно, парадокс, и Бердяев сам называет свою этику «парадоксальной»⁴. Разумеется, это нужно понимать не в смысле имморализма. Бердяев сам ясно говорит: «Плохо, что возникло различие между добром и злом, но хорошо проводить это различие, раз оно возникло. Плохо проходить через опыт зла, но хорошо познавать добро и зло как результат этого опыта». И дальше он так формулирует свое «преодоление морализма в этике»: «Мир идет от первоначального отсутствия различия между добром и злом через резкое различие добра и зла, с тем чтобы, будучи обогащенным этим опытом, снова не различать между добром и злом, но уже на высшей ступени». В этих формулах Бердяев преодолевает свои первоначальные, чересчур смелые утверждения о том, что будто бы иногда хорошо идти по пути зла, так как это может привести к высшему добру.

Высшие мотивы этого преодоления морализма в этике — отнюдь не ницшеанский культ сверхчеловечества, а жажда обожения мира и человека. Бердяев обновляет здесь идею о «всеобщем спасении» Оригена. Он протестует против морального фанатизма во имя высшей морали. Вот его слова: «Мораль высшего добра вовсе не означает безразличия к добру и злу, не означает терпимости ко злу. Она требует большего, а не меньшего, она стремится к просветлению и освобождению злых». И далее он кристаллизует свою мысль в замечательном афоризме: «Моральное сознание началось с вопроса: “Каин, где брат твой Авель?” Оно кончится вопросом: “Авель, где брат твой Каин?”» Спасение невозможно, поясняет Бердяев, «если хоть одна душа мучается в аду. Никто не сможет быть спасен в изолированности от других. Спасение может быть только всеобщим».

Эта мысль, столь близкая Оригену и русскому нравственному сознанию (вспомним апокриф о Богородице, сходящей в ад), снова оживает в этике Бердяева. Но если рай возможен только в братстве и общении с другими, то ад есть полная изоляция от других. В главе об аде, самой блестящей в его книге «Эсхатологическая метафизика»⁵, Бердяев настаивает на мысли, что трагедия ада заключается не в том, что Бог не может простить грешнику его грехи, но что грешник сам не может простить их себе, что ад есть не внешняя сфера, где мучаются грешники: ад—это именно абсолютное одиночество, где голос совести, заглушенный при жизни, жжет грешника страшным, неугасимым огнем самоосуждения.

Страницы Бердяева об аде и рае принадлежат, по мнению Н. О. Лосского, к лучшему, что написано в мировой философской литературе на эту тему⁶.

Бердяев называет свою этику также «персоналистической», в том смысле что даже критерии добра и зла не абсолютны, а символизируют состояние личности в ее отрыве от Бога (зло) и в ее единстве с Богом (добро). В статье «Личность и сверхличностные ценности» он доказывает, что личность утверждает себя не в самоутверждении, а в служении сверхличностным ценностям, подчеркивая в то же время, что это служение должно быть свободным.

В этике Бердяева, несмотря на ее возвышенность, есть существенный пробел (с христианской и особенно с православной точки зрения): в ней нет места одной из самых основных христианских добродетелей — смирению. Бердяев так подчеркивал наличие образа Божьего в человеке, что он как бы забывал об обратной стороне медали: о бесконечном совершенстве Божиим по сравнению с врожденной человеческой греховностью. Хотя Бердяев и говорит много о «падшести» человека, его мысль слишком занята божественностью человеческого назначения. Глубокая мысль Канта о «радикальном зле» в человеческой природе не нашла в учении Бердяева благоприятной почвы. Очевидно, Бердяев смешивал смирение с покорностью. Но между смирением и покорностью есть огромное различие: покорность бывает перед непреодолимой силой, смирение — перед высочайшей ценностью.

У самого Бердяева было немало от духовной гордыни — и это сказалось в его этике. Не то чтобы Бердяев прямо выступал против смирения, но его учение менее всего проникнуто духом смирения — чем была проникнута, например, этика Киреевского или Хомякова.

Тем не менее этика Бердяева представляет собой очень большую ценность, она является одной из самых замечательных систем философской этики двадцатого века. Ни одному уму не дано охватить иерархию ценностей в ее целом — открытые Бердяевым ценности этики творчества заслонили в его уме высшую ценность смирения.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

В тесной связи с этикой стоит и социальная философия Бердяева, в которой он отстаивает персонализм в его социальной проекции. Личность, по Бердяеву, имеет безусловный приори-

тет перед обществом. Но одна из трагедий личности заключается в том, что общество имеет тенденцию тиранить личность. В книге «О рабстве и свободе человека» он подробно рассматривает различные виды этой тирании: со стороны нации (национализм), государства (этатизм), класса (призыв к классовой борьбе), церкви как социальной организации (клерикализм) и так далее. Он даже утверждает, что все эти социальные единства суть продукты «объективации» и не имеют собственного «экзистенциального центра». Ибо глубинность бытия присуща лишь личности. Если внешне личность является частью общества, то в глубинном плане скорее общество есть часть личности («мы» в «я»). Однако в нашем падшем мире эта первичная иерархия нарушена, так как личное приносится в жертву «общему».

Казалось бы, такой персонализм переходит в крайний индивидуализм. Но Бердяев парирует возможность этого возражения проведением резкого различия между персонализмом и индивидуализмом. Крайний индивидуализм делает из человеческого «я» моральный центр вселенной (Штирнер, Ницше). Персонализм же утверждает, что человеческая личность становится полноценной лишь в своей творческой активности и в живом общении с другими личностями, а не в горделивом самоутверждении. Персонализм призывает к жертвенности, а не к самовозвеличению. Общее в индивидуализме и персонализме — высокая оценка личности. Но для индивидуалиста все есть лишь средство к самовозвышению личности, тогда как персонализм призывает личность к служению сверхличным ценностям. В проведении принципиального различия между индивидуализмом и персонализмом — одна из философских заслуг Бердяева.

Мы уже говорили, что персонализм противопоставляет себя также коллективизму, культу любого коллектива. Бердяев всю жизнь боролся против коллективизма, стремящегося растворить личность в обществе. От этого растворения личности в обществе Бердяев строго отличает живое общение личностей на основе их равноценности. Такое общение он называет «коммунитарным», строго отличая его от коммунистического муравейника.

Казалось бы, персонализм Бердяева должен быть враждебен социализму. Но Бердяев думает иначе. Отождествив социализм со стремлением к социальной справедливости, он ратует за «персоналистический социализм». В таком социализме социальная справедливость утверждается во имя достоинства личности. Уже христианское сострадание требует оказания актив-

ной помощи ближним. «Хлеб для меня, — говорит Бердяев, — есть материальный вопрос. Но хлеб для моего ближнего — вопрос уже духовный».

Вообще Бердяев считает, что традиционный грех исторического социализма состоит в его связи с материалистической философией. Подлинный социализм, говорит он, должен быть основан на нравственно-религиозных началах. Социальный персонализм Бердяева остался недоработанным, он развивал его больше в порядке полемики с инакомыслящими, чем по существу. Социальный персонализм получил свое более разработанное выражение в трудах С. Франка (особенно в книге «Духовные основы общества»). В моих книгах «Основы органического мировоззрения» и «Трагедия свободы» я пытался развить далее учение персонализма, опираясь больше на Н. Лосского и С. Франка, чем на Бердяева, однако отдавая должное и его идеям.

ИСТОРИОСОФИЯ

В свете своей этики и своего персонализма Бердяев подходит и к философии истории, в частности к философии современного духовного кризиса. Именно историософские взгляды Бердяева вызвали к нему такой интерес на Западе. Эти взгляды высказаны им главным образом в книгах «Смысл истории» и «Новое средневековье», но они рассыпаны во всех его книгах и статьях, особенно в статье «Судьба человека в современном мире».

По учению Бердяева, первоисток современного кризиса — в отпадении человечества от вечной правды христианства ради соблазна безбожного гуманизма. Но под христианством он имеет в виду самый дух христианства и гораздо меньше — официальную церковь, которая, по его убеждению, вступила в компромисс с «миром», внутренне обуржуазилась и утратила дух вселенскости (Бердяев имел главным образом в виду церковь на Западе). Христианство дало человечеству благую весть о Царствии Божием, гуманизм впервые осознал свободу человека и самоценность свободы. Но современное человечество отвернулось и от Царствия Божия ради мечты о царстве человеческом, и от свободы, предпочтя ей мечту о сытом довольстве. Вместо органической культуры человечество стало создавать механическую цивилизацию, массовую псевдокультуру, самая устремленность которой антирелигиозна и антиперсоналистич-

на. Вместо образа и подобия Божия человек становится образом и подобием бездушной машины. «Царство буржуазного духа, — пишет Бердяев, — привело к ложной механической цивилизации, глубоко противоположной всякой истинной культуре». И далее: «Цивилизация развила огромные технические силы, которые, по замыслу, должны были уготовить царство человека над природой. Но эти технические силы властвуют над самим человеком, делают его рабом, убивают его душу... в колоссальной технической цивилизации точно выпущены все демоны, мстящие человеку». Интересно, что еще в 20-е годы Бердяев предсказывал появление чего-то подобного атомной бомбе.

Коммунизм родился, по убеждению Бердяева, как протест против буржуазной культуры с ее вопиющим в прошлом социальным неравенством — но протест этот сам был заражен безбожным духом той же культуры. Вот его слова, клеймящие буржуазную культуру: «Дух цивилизации — мещанский дух. Цивилизация Европы и Америки создала индустриальную капиталистическую систему, которая является истребителем духа вечности, духа святынь, капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией. В недрах цивилизации начали обнаруживаться процессы варваризации, огрубения. Не церковь, а биржа стала господствующей и регулирующей силой жизни», — писал Бердяев в «Новом средневековьи». А в «Смысле истории» он говорит «Исключительное погружение Европы в социальные вопросы есть падение человечества. Экономизм цивилизации XIX и XX веков, извративший иерархический строй общества, породил экономический материализм, верно отразивший действительность XIX века... Поклонение Маммоне вместо Бога одинаково свойственно и капитализму и коммунизму... Не свободен духом человек нашего времени... он находится во власти неведомого ему господина, сверхчеловеческой и нечеловеческой силы, которая овладевает обществом, не желающим знать Истины».

Таким образом, по Бердяеву, коммунизм есть Немезида капитализма и порожден он материалистическим духом капитализма. Эту мысль Бердяева по-своему варьирует и американский философ Фултон Шин⁷, сказавший: «Коммунизм есть кривое зеркало дурной совести капитализма».

Заметим от себя, что обличительные слова Бердяева в адрес капитализма относятся, по существу, к капитализму середины XIX века (проанализированному Марксом и иллюстрированно-

му Диккенсом) и что в наше время, когда большинство населения развитых стран составляет неплохо обеспеченный средний класс, эти замечания философа больше не «звучат». Современный же коммунизм давно перестал быть «дурной совестью капитализма»: он одержим манией тотальной власти. Но приведенные выше мысли Бердяева имеют значение по отношению к генезису капитализма.

Особенно интересны замечания Бердяева о революции и о России. «Революции современного, тоталитарного, типа, — говорит он, — предшествует процесс разложения, упадок веры, утеря объединяющего центра жизни. В результате люди теряют свободу и становятся одержимы дьяволом».

Во всех своих позднейших книгах Бердяев проводит, по-разному варьируя, ту мысль, что мания свободы в ее отрыве от Бога диалектически приводит к худшим формам рабства и что сам гуманизм, будучи оторван от своего религиозного первоисточника, приводит к своей противоположности — к антигуманизму. «Безрелигиозный гуманизм приводит к дегуманизации и бестиализации человека».

Буржуазная цивилизация — развивает далее свою мысль Бердяев — вовсе не есть моральная форма культуры. Она представляет собой лишь затянувшийся переход — от старого средневековья, где варварство все же пронизывали лучи христианского света, к новому средневековью, когда, несмотря на все достижения цивилизации, лучи эти часто не в силах проникнуть к людям сквозь удушливый дым ядовитых испарений зла.

В условиях относительного благоденствия человеческий дух засыпает, самодовольная личность деперсонализируется, теряет волю к свободе — в результате буржуазная культура оказывается не в состоянии выдержать натиск организованных сил зла, прикрывающихся маской идей равенства и социальной справедливости. Буржуазная культура оказывается переходной формой от гуманизма к новому варварству, гораздо худшему, чем средневековье, ибо тогда христианская идея, несмотря на все злоупотребления ею, предохраняла личность от разложения. Типы монаха и рыцаря, сильных своей духовной собранностью и дисциплиной, уступают место типам торгаша и шофера, с тем чтобы уступить затем место типам комиссара, чекиста, во имя «народной воли» тиранящего народ.

В революции на авансцену истории выходят иррациональные, демонические силы, пребывавшие в условиях буржуазной культуры в «подполье». Так буржуазная культура сама подготавливает почву для своего падения.

На Западе буржуазный дух гораздо сильнее, чем в России, — продолжает Бердяев, — так как на Западе традиции гуманизма прочнее. Но гуманизм сам есть миф, не выдерживающий критики, ибо сам человек есть существо изначально религиозное. В конце концов он устремляется или вверх, к Царству Божьему, или вниз — к царству Антихриста. Большевизм силен своей критикой лжи буржуазной культуры, но он не в силах создать свою положительную культуру, ибо сам заражен материализмом, порожденным буржуазией. Поэтому большевизм силен лишь разрушением, но не творчеством. «Большевики воображают, — писал Бердяев, — что они — творцы будущего. В действительности они — орудия безличных стихий. На самом деле они обращены к прошлому, а не к будущему, ибо они — рабы прошлого и прикованы к нему злобой, ненавистью и мстостью».

Развивая в новом направлении мысли славянофилов, Бердяев говорит о России, что она «никогда не могла принять гуманистической культуры Нового времени, ее рационалистического сознания, формальной логики, ее секулярной срединности. Россия никогда не выходила из средневековья, из сакральной патриархальной эпохи».

В этих словах — немало правды, но еще больше, пожалуй, преувеличений. Они как бы игнорируют петербургский, имперский период русской истории, когда на основе своеобразного синтеза русскости и европейскости русский дух принес свои лучшие плоды почти во всех областях культурного творчества. Верно, что русская культура XIX века была преимущественно дворянской и мало проникла в народную толщу, но в конечном счете она оказалась созвучной самым широким слоям народа.

Именно в силу радикализма русского духа — продолжает Бердяев — большевики оказались ближе к народу, чем либеральная русская интеллигенция. Большевизм — заключает он — есть русская судьба или часть русской судьбы. Бердяев считал, что всякая политическая борьба против большевизма не нужна или даже вредна. Все свои надежды он возлагал на духовное возрождение русского народа в будущем. Если бы он дожил до наших дней, то он, думается, поддержал бы Солженицына и вообще современных русских диссидентов. В силу этих представлений духовное возрождение по мере своего нарастания неизбежно, в конце концов, найдет и свои политические формы. Но не будем гадать, что было бы, если бы...

«Русский народ, — продолжает свои чрезмерно радикальные мысли Бердяев, — не может создать срединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейс-

ком смысле слова. Он хочет или Царства Божьего, братства во Христе, или товарищества в Антихристе, царства князя мира сего. В России всегда была исключительная, неведомая народам Запада, отрешенность... Народы Запада своими добродетелями прикованы к земле, русский же народ своими добродетелями обращен к небу». «Русские, — говорит Бердяев в другом месте, — или нигилисты, или апокалиптики».

Опять-таки в этих словах частичная правда настолько переплетена с чудовищными преувеличениями, что в целом они иногда граничат с клеветой. Если очистить эти бердяевские мысли от неоправданных обобщений, то получится примерно такая идея: русский дух склонен к крайностям, он одушевлен более жаждой правды, чем пафосом свободы, и какая-то доля вины падает на эти черты русского характера (поскольку значительная часть народа поверила в лицемерные советские обещания). Но Бердяев странным образом упускает из виду, что если в 1917 году часть народа пошла за большевиками, то теперь, после более чем полувекового опыта, народ на собственном кровавом опыте узнал, что такое большевизм (всех интересующихся темой об отношении Бердяева к русскому вопросу, отсылаю к ценной книге проф. Н. Полторацкого «Бердяев и Россия»⁸).

В наше время в недрах народной души происходит новая духовная революция, революция духа. Поэтому диагнозы Бердяева, актуальные полвека тому назад, теперь явно устарели. Большевики давно перестали быть «идеалистами зла», они теперь — деловики и аппаратчики, «реалисты зла». После войны, в последние годы своей жизни, Бердяев, ослепленный законной ненавистью к гитлеризму, вообще стал слишком много прощать большевикам. Мыслитель, сказавший в свое время самые разоблачающие слова о большевизме, заклеивший советскую власть как «сатанократию», склонен был даже увидеть в них предшественников новой, высшей эпохи. Своими последними, просоветскими писаниями Бердяев принес много вреда антибольшевистскому делу. Политическая бердяевщина должна быть безусловно отвергнута. В этом политическом плане в защиту Бердяева можно сказать лишь то, что под самый конец жизни он изжил эту прискорбную aberrацию своего сознания. Но эти печальные заблуждения Бердяева ничуть не умаляют огромной ценности его философии, в частности его огненных мыслей о религиозном смысле современного кризиса. Ибо в главном Бердяев прав: выход из современного кризиса может быть только один — в возвращении на новом уровне к

вечной правде христианства. Если демократия не христианизируется, она может погибнуть под ударами нового варварства. Мобилизации сил зла должна быть противопоставлена мобилизация сил добра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно отметить, что Бердяев наряду с его значительностью остается и довольно спорной фигурой. У него больше поклонников на Западе, чем в русской эмигрантской среде, где, за немногими исключениями, к нему относятся сдержанно, а подчас враждебно. В частности, в церковных кругах самое имя Бердяева вызывает нередко негодование, чему, нужно сказать, Бердяев давал поводы своими резкими нападками на Синод, не говоря уже о его послевоенном советском патриотизме.

На Западе Бердяева многие считают ярким представителем русского православного духа. Такая оценка, по меньшей мере, одностороння. Это все равно что судить о русской душе только по Достоевскому, игнорируя Толстого, Пушкина и Чехова. Ибо Бердяев был в высшей степени неортодоксален. По его собственным словам, он был «всю жизнь бунтарем и верующим вольнодумцем». Но если чистота его православия сомнительна, то в эмоционально-интуитивном характере его философствования много русского. Он сам говорил: «Мое мышление интуитивно и афористично. Я ничего толком не могу развить и доказать». В то же время его писания озарены светом целостной интуиции.

Во всяком случае, нельзя отрицать яркой оригинальности Бердяева, пророческого характера его философии и его блестящего литературного таланта. В лучших вещах он возвышается до гениальности, и его огненный пафос заражает всякого сколько-нибудь чуткого к мысли читателя. Он был в высшей степени плодovit: количество его книг исчисляется десятками, а статей — сотнями. Он сам признается: «Писать для меня — физиологическая потребность».

Если сравнивать, на чисто философских весах — некоторые современные русские мыслители весят больше Бердяева. Так, Лосский и Франк имеют больше чисто философских заслуг, отец Павел Флоренский превосходит его высотой религиозно-философских прозрений, а отец Сергей Булгаков выше его в богословском отношении.

Но у Бердяева есть, по крайней мере, одна черта, которая выделяет его из других: он был философом пророческого духа, он был в высшей степени чуток к болезням и грехам века сего и по своему темпераменту он был философом-бойцом. В его облике было нечто рыцарское, он был подлинным «рыцарем свободного духа». Его благородная защита свободы духа в наше время, когда часто ее отрицают или понимают узко формально, не может не волновать и не вдохновлять читателя.

Бердяев был самой яркой личностью в русской философии XX века — в этом он схож с Владимиром Соловьевым, который также как личность выше своих творений.

Даже принимая чужие идеи, Бердяев развивал и выражал их настолько глубоко по-своему, что они сразу принимали особый, «бердяевский», оттенок. В его творчестве скрещиваются самые разнообразные и разнокачественные влияния: Достоевского, Леонтьева, Владимира Соловьева, Канта, Маркса, Ницше, средневековых мистиков — и это не все. Но все эти влияния настолько переварены в котле собственной мысли, настолько органически слиты с ней, что говорить о каком-либо эклектизме было бы глубокой несправедливостью. Заметим также, что Бердяев был очень чуток к веяниям искусства и его суждения об искусстве всегда отличались тонким проникновением. Например, еще до первой мировой войны он написал блестящую статью о Пикассо, предвосхитив позднейшие его оценки, ставшие потом общим местом.

Философия Бердяева — не для догматиков, она обращена к ищущим умам, а таких всегда меньшинство. Тем не менее Бердяев никогда не мог жаловаться на недостаток читателей, и для философа спрос на его произведения был и остается достаточно велик. Бердяева часто критиковали, нередко хулили, но его читали. Это указывает на то, что темы, затрагиваемые Бердяевым, созвучны духовным исканиям современности.

Повторение основ христианской догматики, конечно, в высшей степени полезно. Но современный человек прошел или проходит через новые соблазны — ницшеанства, психоанализа, экзистенциализма, кибернетики, декаданса, его психика очень утончилась (не обязательно в положительном смысле этого слова). И поэтому вечные истины христианства нуждаются теперь в их разъяснении на ином, культурно-высшем уровне, чем в прежние века.

Бердяева можно в известном смысле назвать «модернистом», но это относится скорее к форме изложения, чем к существу его учения. Он стремится не к замене старых догматов

новыми, а к тому чтобы вечные истины духа преломлялись через новые, современные призмы. Он борется как бы на два фронта: против кумиров современной безбожной цивилизации и против бездумно упрощенных представлений о Боге. Темперамент бойца часто заслонял у него чистоту философских созерцаний. Но его полемика была всегда принципиальной и «диалектической» в лучшем, платоно-гегелевском смысле этого слова.

Бердяев отличался большой силой морального пафоса, и это несмотря на то, что всякий узкий морализм вызывал у него негодование. У него была потребность кого-то обличать, а для этого в наше время находилось всегда достаточно поводов. Но он умел не только обличать, а и призывать к высшей духовности; его морализм умерялся широтой кругозора и возводился в высшую степень пророческим горением.

В личной жизни он бывал нетерпим, но всегда был готов заступиться за обиженных и гонимых. В общении он умел быть обаятельным, его духовное благородство было подлинным, несмотря на нередкие вспышки гнева и на несомненную духовную гордыню. Особенно чувствовалось обаяние его личности на публичных лекциях, и это несмотря на нервный тик, искажавший даже во время лекций его лицо. Слушатели всегда чувствовали, что перед ними из первоисточника вдохновения излагает свои мысли философ, одаренный пророческим горением. Бердяев вызывал или восхищение, или возмущение: к нему невозможно было относиться с равнодушием.

Его одушевляла одна идея — свободы. Среди философов свободы Бердяев занимает первое место, в этом отношении рядом с ним можно поставить только Шеллинга и Баадера. В своем пафосе свободы он нередко заходил слишком далеко, скажем прямо — впадал в ересь. Его метко называли «фанатиком свободы», а проф. Спинка, автор ценной книги о Бердяеве⁹, охарактеризовал его как «пленника свобода». Но он был прежде всего — пророк и лишь в известных аспектах — еретик. А как показывает история церкви, некоторые ереси, диалектически говоря, оказались полезными, ибо они способствовали выяснению истины.

В нашем кратком очерке мы не могли позволить себе детального анализа идей Бердяева. Поэтому в ответ на огульные обвинения в «ереси» и «зловредности» со стороны некоторых противников Бердяева мы позволим себе повторить соображение, приведенное проф. Н. О. Лосским в его английской книге о русской философии: «В наше время, когда большинство ин-

теллигенции столь далеко от жизни церкви и от духа христианства, у Бердяева есть уже та огромная заслуга, что своими писаниями, проникнутыми религиозно-философским пафосом, он пробуждает интерес к религии и к высшим философским проблемам, заражая читателей своей духовной взволнованностью. Немало читателей, прежде равнодушных или враждебных религии, под влиянием Бердяева переживали внутренний кризис и возвращались к церкви».

Правда, за порогом религии, прибавим от себя, Бердяев перестает быть надежным руководителем. В богословских вопросах он — плохой учитель, да он и называет себя свободным религиозным философом. Во всяком случае, от вопросов, поставленных Бердяевым, нельзя просто отмахнуться: их необходимо пережить и преодолеть. Здание учения Бердяева непрочное, но в нем есть золотые кирпичи. Поэтому можно сказать, что в целом творчество Бердяева глубоко оправданно.

На темном же небосклоне современной культуры звезда Бердяева, этого рыцаря свободного духа, долго будет сиять манящим, хотя и не всегда чистым, блеском.

